

ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

О «Тайне драмы» и двух друзьях

Воспоминания об Андрее Макаёнке

Иван Шамякин познакомился с Андреем Макаёнком еще до моего рождения — в 1947 году. Встречаться они стали часто по переезде обоих в Минск. Моя старшая сестра Лина Ивановна вспоминает: «На Логойском тракте снимали комнаты Андрей Макаёнок, Петр Василевский, Алексей Кулаковский. Папа с ними сдружился. Они приходили к нам. В теплое время беседовали в вишневом садике о политике, экономике страны, писательских делах. Когда случались холода, шли к кому-нибудь из них, поскольку у нас было очень тесно».

Я, естественно, не помню первых своих лет, не помню и нашу первую минскую квартиру — мы ее тоже снимали, как и папины друзья, но мои родители рассказывали, что Андрей Егорович любил играть со мной, маленькой, и считал как бы своей крестницей. Мой отец в своей искренней и проникновенной книге «Тайна драмы (Повесть о друге)» писал: «Через полтора месяца после приезда в Минск у нас родилась Татьяна. Андрей очень привязался к малышке и начал приходить не только по воскресениям, но и в будние дни» [Перевод с белорусского мой. — Т. III.]. Свообразным моим опекуном он оставался до конца жизни, кстати, и мужа моего любил, и старшую дочь Мацу.

Первые мои воспоминания связаны с проживанием на улице Комсомольской, в доме, где сейчас книжный магазин «Центральный». Знаю, что Макаёнок захаживал к нам нередко, но помню его смутно. Реальная память осталась о нашей квартире на улице Карла Маркса, в так называемом «писательском доме» под № 36. Там мы прожили пятнадцать лет. Тогда Андрей Егорович приходил к нам особенно часто. Уже начались у него нелады с женой Еленой Сергеевной, а в то же время пришла и слава драматурга, комедиографа.

Макаёнок был человеком очень харизматичным, по-настоящему обаятельным. В любом коллективе, в любой компании он выделялся и внешней красотой, и темпераментом — бурным, взрывным. К тому же — замечательный актер. Когда в России широко пошли его пьесы, он завел тесную дружбу с актерами Московского театра сатиры. Восторгался актерским мастерством многих, особенно Андрея Миронова. Помню, он показывал, как Миронов играет некоторые роли, как он в них двигается, как перевоплощается в персонажей, как интонирует произнесение реплик. При этом у самого Андрея Егоровича получалось не хуже. В нашем Государственном академическом театре имени Я. Купалы он всегда сам читал свои новые пьесы, и это оказывалось настолько захватывающим, поучительным и вдохновляющим, что актерам при подготовке спектакля значительно легче было работать над ролями. И. Шамякин в «Тайне драмы» — книге в память о друге — рассказывает о розыгрышах Макаёнка, в частности, об одном особенно удачном — в маске кавказца, привезенной М. Лыньковым из США. Я хорошо помню этот остроумный, хотя и несколько грубоватый, розыгрыш, на который поддались многие работники редакций и издательств («Номер не удался с Ильей Гурским и Янкой Брылем», — замечает Шамякин). «Номер не удался» и с моей мамой: Макаёнок в маске появился к нам, мама ему открыла и тут же узнала. Однако говорил он с грузинским акцентом удивительно естественно, то есть без

всякого шаржа — именно так, как и говорят кавказцы. Со смехом рассказывал у нас дома, как кто на его великолепную игру реагировал. В писательской среде еще долго вспоминали этот розыгрыш. Часто разыгрывал он по телефону некоторых приятелей — обычно под Новый год или 1 апреля. Несомненно, он бы мог стать незаурядным актером.

Талантливый человек талантлив во всем. Так и Макаёнок отличался многими дарованиями. Шамякин пишет: «...Было у Андрея хобби — резьба по дереву, вообще работа с деревом. Когда ни придешь — он с рубанком, мастерит новую полочку, переделывает сарайчик, дровницу... Он мог потратить месяц работы, до кровавых мозолей на руках, чтобы вырезать из осинового полена... фигу. Дуля вышла высокохудожественная. «Это моим критикам».

Лежала деревянная фигу так, что на нее обращали внимание сразу. Сколько было шуток! Гости, восхищаясь мастерством хозяина, весело смеялись. Объясняя, что дело происходило на даче. К сожалению, многие вырезанные из дерева произведения Макаёнка, а также его мастерски, психологически точно нарисованный автопортрет, сгорели вместе с дачей. Это случилось по всегдашней доброте Андрея Егоровича: он пустил пожить на даче знакомую семейную пару, они включили зимой электрообогреватель и уехали в Минск. Макаёнок на свои огромные гонорары построил новую дачу — во всем новаторскую, по эксклюзивному проекту. Нам, Шамякиным, она не нравилась — неудобная. Но мы не высказывали своего мнения другу семьи.

Бьющие через край эмоции, талантливость, артистизм, остроумие неизменно привлекали к Макаёнку людей. Особенным успехом пользовался он у женщин. Умел прекрасно обходиться и с детьми. В то же время он сам нуждался во внимании и поддержке. В каком-то смысле они с моим отцом были антиподами: Макаёнок — эмоциональный и порывистый, Шамякин — спокойный и осторожный. В течение многих лет Макаёнок приходил к нам буквально каждый день, чтобы выговориться и впитать, как мне сегодня видится, атмосферу нашего дома, что создавалась мамой — доброй и мудрой женщиной. Такой же атмосферы в семье самого Андрея Егоровича не сложилось. Он белой завистью завидовал другу. Кстати, я от него самого слышала это не раз. Отношение же моей мамы к Макаёнку было сложным. С одной стороны, он ее явно раздражал, многое в нем она органически не принимала, полагала, что он портит ее довольно наивного и мягкого по характеру мужа, скажем, знакомит его с разбитными, навязчивыми актрисами. С другой стороны, маме не могло не льстить, что Андрей Егорович ее безмерно уважал и даже преклонялся перед ней. Она, конечно же, признавала его ум, талант, старалась с ним дружить, и сколько я помню, никаких конфликтов у них никогда не возникало. По-человечески она и жалела его, и одновременно в душе осуждала, особенно в последние годы жизни Андрея Егоровича, когда он женился вторично. Макаёнок любил с женой друга поговорить, и я видела, что ему хотелось выглядеть перед ней лучше, чище, серьезнее. Впрочем, он не выглядел, а в самом деле был таким — второй стороной своей натуры.

В 50-е годы Макаёнок приходил к нам со своей первой женой Еленой Сергеевной. Она считалась первой красавицей среди жен писателей, и это мнение, безусловно, было справедливо. Однако даже мне, ребенку, не то, что маме, много пережившей в военные и послевоенные годы, молоденькая жена Макаёнка казалась довольно легкомысленной. Я видела, что мама с трудом поддерживает с ней разговор о каких-то сугубо женских вещах — нарядах, косметике. Маме не удавались такие разговоры. Однако через несколько лет, после рождения детей, Аллы и Сергея, Елена Сергеевна совершенно избавилась от своего несколько наивного, извинительного девичьего кокетства. Одно время моя старшая сестра Лина работала с ней вместе в 86-й школе. Педагогом жена Макаёнка оказалась хорошим, и ее любили.

В 60-е и 70-е годы Андрей Егорович никогда уже с Еленой Сергеевной к нам не приходил. У них были частые ссоры. Мои родители обсуждали дела после

ронных людей, да и родственников, всегда наедине, между собой, и очень заботились, чтобы нас, детей, не касались перипетии, часто не совсем чистые, чужих отношений. Но все же какие-то сведения до нас доходили. Сейчас очень сложно сказать, кто виноват в семейной драме. У моего отца сложилась собственная версия, в которой он неизменно, стараясь быть объективным, все же становился на сторону друга, полагая, что Елене Сергеевне не хватило чисто женского умения, тепла, «умного сердца», чтобы удержать такого сложного человека, как Андрей Егорович. Я же думаю, что, чтобы ужиться с большим талантом, нужно самой быть талантливой. Талантливой именно в понимании другого человека. Моя мама сумела. Андрей Егорович разглядел в ней это и очень ценил, радовался за друга.

Да, мне приходилось видеть обычно всегда веселого дядю Андрея и грустным, и задумчивым, и изливающим друзьям — Ване и Маше — свою тоску — по уютному дому, понимающей жене. Однако и от него требовалось немалое умение — ведь жену, младше его по летам, можно было «воспитать». Я помню, она старалась угождать. Помню потому, что виделись мы в самом деле нередко. В 50-е годы часто семьями ездили покататься на машинах — обычно по Московскому шоссе. Мы, дети, всегда с нетерпением ожидали таких выездов. На возвышенностях вдоль дороги тогда установили гипсовые скульптуры оленей и медвежат — мы с братом Сашей на них взбирались и любили так фотографироваться. Как мало нужно было тогдашним детям для развлечения! Однако и у взрослых мужчин, прошедших войну, оставалось много ребяческого в характерах. Самое удивительное воспоминание об этих поездках — перегонки Макаёнка и Шамакина на их «Победах», причем, с полными салонами пассажиров. Каждый старался обогнать другого. Жены увещевали, упрасивали — ведь дети в машинах! — но вошедших в азарт отцов семейства и маститых писателей, оказывалось, очень сложно урезонить. Я и сейчас помню выражение лица — лукаво-восторженное — моего папы, когда он обходил машину приятеля-соперника. А потом друзья, остановившись, друг над другом подшучивали и с большим удовольствием обсуждали все перипетии гонки.

Отъезжали от Минска довольно далеко — ведь бензин стоил копейки, а движение по шоссе тогда было минимальное. Весной ездили смотреть ледоход на реках — Березине, Немане, а также собирать подснежники и удивительные цветиколюльчики, которые мы называли «сон». Осенью — «третья охота», грибы, и очень часто просто поездки на природу — посидеть у костра, поесть печеной в золе картошки, поджаренного на палочках сала. Часто ехали большой компанией — еще и семьи Кулаковских и Василевских. Помню, что Андрей Егорович любил подшучивать над Кулаковским — сухарем и формалистом, как он полагал (в то время Алексей Николаевич был секретарем партийной организации Союза писателей). А просто у Кулаковского был совсем иной темперамент, чем у Макаёнка. Впрочем, и у нас дома о Кулаковском говорили с легкой иронией, думая, что мы, дети, ее не замечаем. Я полагаю, потому, что когда родители еще жили вместе с Кулаковскими в одной квартире, Алексей Николаевич занудно всех учил праведности, высокой морали, но однажды мама, будучи с дочерью Линой в кино, увидела соседа с другой женщиной — не с женой, кроткой и милой Ниной.

С Петром Василевским, кстати, своим земляком, однокашником, Андрей Егорович часто вступал в перепалку. Оба они острые на язык, хотя эрудицией тогда больше блистал Василевский. Однако и Андрей Егорович быстро набирал знания. В 60-е годы они рассорились — как я понимаю, из-за фильма «После ярмарки» по пьесе Я. Купалы «Павлинка», где сценарий писал Макаёнок, а режиссером был Василевский. Андрей Егорович не мог простить другу провала, по его мнению, фильма, который задумывался им совершенно иным. Однако когда сегодня смотришь эту искрометную комедию и сравниваешь с современными скороспелыми, более чем сомнительными, поделками, то не можешь не удивляться профессионализму советских киноработников, а тогдашнюю якобы неудачу воспринимаешь чуть ли не шедевром.

Мне было жаль, что рассорились такие умные люди. Правда, Шамякин и Василевский остались добрыми приятелями, но уже не встречались так часто, как раньше. О прошлой дружбе четверки в своей мемориальной повести не так давно написала Галина Онуфриевна Василевская.

Свой взрывной, цыганский характер сам Макаёнок любил и в себе его ценил. Нельзя сказать, что он лез в драку по любому поводу, но, бывало, брал за грудки, например, Анатоля Велюгина. Кстати, за то, что тот, случилось, обижал Шамякина, а мой отец всегда от грубости и наглости терялся, не мог ответить подвыпившему задира. Не таков был Макаёнок. Впрочем, на следующий день они с тем же Велюгиным уже запросто обнимались, да и Шамякин на Велюгина никогда не сердился. А чем ближе к старости, тем больше они все начинали чувствовать особенную теплоту друг к другу. Шамякина тянуло к близким по возрасту коллегам — к тому же Велюгину, Приходько, Панченко, Брылю, Науменко. Только с Быковым не сложились приятельские отношения. В своей «Тайне драмы» Шамякин вспоминает людей, с которыми дружил Макаёнок, и это известные писатели Советского Союза — Петро Глебка, Петрусь Бровка, Михаил Лыньков, Максим Танк, Пимен Панченко, Василий Быков, Александр Прокофьев, Александр Корнейчук, Олесь Гончар, Николай Зарудный, Василий Казаченко, Афанасий Салынский, Мустай Карим, Расул Гамзатов, Василий Субботин, Борис Можавев, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Белорусы, русские, украинцы, кавказцы... Отец почему-то не включил в книгу некоторые интересные эпизоды отношений Макаёнка с коллегами из других республик, — то, что помнится мне. Однажды в Москве, в дружеской беседе за неизменным коньяком в Центральном Доме литератора, выяснилось, что у Евтушенко — белорусские корни, кажется, дед по матери белорус. Андрей Егорович, как всегда, загорелся — найти малую родину знаменитого русского поэта. Действительно, Евтушенко, всегда легкий на подъем, приехал в Беларусь, и Макаёнок долго возил его по Могилевской и Гомельской областям, и они таки нашли дальних родственников Евгения Александровича. О белорусском драматурге доброжелательно вспоминал известный русский писатель Владимир Солоухин, тоже из тех, как и Макаёнок, кто всегда шел наперекор любому официозу.

У нас дома друзья — Шамякин и Макаёнок — часто обсуждали коллег по перу. Не злословили, а именно обсуждали — и плохие, и хорошие стороны каждого. Их оценки в 60-е годы, как я поняла уже позже, оказались в целом справедливыми. Причем, Шамякин не любил ничего рассказывать детям — все более или менее существенное из писательской жизни я узнавала или из разговоров двух друзей, которые слышала через стенку папиного кабинета, или непосредственно от Андрея Егоровича, сообщавшего новости моей маме, а когда я стала студенткой — уже и мне. Шамякин в то время руководил Союзом писателей — был первым секретарем (М. Танк — председателем). Отцу приходилось решать множество текущих дел, общаться с огромным количеством людей, поэтому он часто задерживался на работе. Макаёнок приходил к нам несколько раньше конца рабочего дня и сидел, ожидая друга, в нашей всегда многолюдной квартире (дети, их друзья, сестры мамы, ее племянницы). Я очень любила его рассказы — это был настоящий университет. Правда, некоторые сведения, услышанные от него, я и сегодня не могу озвучить по причине их деликатности, проще говоря, это чужие тайны. А некоторые стали прочным фундаментом моего филологического образования. Уже когда я училась в университете, Андрей Егорович говорил мне: «Ты пока — «кастрюля», в тебя набивают и набивают знания, как продукты для борща, но борща не будет, пока кто-то не зажжет огонь и не позаботится о готовке». Думаю, в нем жило стремление как раз разжечь в своей крестнице такой огонек — творческий. Я ценила серьезность его бесед со мной. Пришел он, кстати, и на защиту моей кандидатской диссертации в 1975 году. Это было какое-то удивительное действо, которое я тогда по молодости толком не поняла и не оценила. Ведь моим руководителем был академик Иван Науменко, первым

оппонентом — известнейший писатель Алесь Адамович, сочувствующими зрителями — такие асы-профессионалы, как Иван Шамякин и Андрей Макаёнок, а также мои коллеги по кафедре — сами замечательные литераторы и ученые: Михаил Ларченко, Олег Лойко, Степан Александрович, Дмитрий Бугаёв, Григорий Семашкевич. С трибуны Науменко и Адамович говорили, собственно, для них, зрителей, — получился удивительно интересный разговор о литературе, который продолжился за банкетным столом у нас дома, на новой квартире, — уже не на улице Карла Маркса, а символически — на улице Янки Купалы.

Особая тема — разговоры в квартире Шамякина о политике. И мама, и ее родственники, и я часто просили Андрея Егоровича разъяснять нам некоторые происходившие в стране и мире события, а это было богатое на них время: в 1956 году XX съезд КПСС и оглушительный доклад Хрущева на нем, в 1957 году осуждение «антипартийной группы» Молотова, Маленкова и Кагановича (все — бывшие соратники Хрущева), в 1962 году — Карибский кризис, а в 1964 году лишился высокого поста и сам «дорогой Никита Сергеевич». Взгляды писателей на социальные процессы в то время отличались удивительной широтой понимания и прозорливостью. Однако была и другая сторона их политических воззрений. Так, все они очень любили слушать и рассказывать анекдоты на злобу дня. Тот же Макаёнок каждый день приносил новый, а часто и не один. Огромное их количество появлялось тогда. Правда, через десятилетия Андрей Егорович говорил мне, откуда они брались и берутся: на Западе существует не менее двухсот научно-исследовательских институтов, работающих на информационную войну, занимающихся идеологической обработкой населения СССР и стран социалистического содружества. Естественно, тогда я восприняла его слова с юношеским скептицизмом. Уже в 90-е годы, через много лет после смерти моего крестного и ликвидации, но без внешнего воздействия, СССР, я и сама прочитала о деятельности этих институтов: кроме сочинения антисоветских анекдотов они эффективно работали с нашей же прессой, извлекая из нее нужные сведения, и особенно — что удивительно — гонялись за настенными газетами разных организаций и учреждений. Нам бы поучиться тогда (хотя бы по деятельности «радиоголосов») такой идеологической работе — у нас в стране она все больше хирела, засушивалась и угнетала думающих людей своим догматизмом. Против этого и восставали писатели, об этом и вели нескончаемые разговоры. Хорошо видели Шамякин и Макаёнок суть деятельности определенной части творческой элиты, которая работала на разрушение, на понижение нравственных критериев, эталонов красоты. Всё видели. С начинающимся регрессом могли бороться только одним — своим словом...

Имена некоторых деятелей звучали в разговорах писателей постоянно, и даже мне, маленькой, западали в память. Шли бесконечные обсуждения Сталина и Хрущева. Часто подключались наши соседи-писатели: Ян Скрыган, сам только что вернувшийся из Сибири, Янка Брыль, у которого братья пострадали, Иван Мележ, Иван Науменко, Петро Глебка. Причем, Шамякин, понимая ошибки и глупости Хрущева, все же его неизменно оправдывал, потому что, по мнению моего папы, главное достижение Никиты Сергеевича перекрывало все его грехи — «не допустил репрессий, реабилитировал невиновных». И это при том, что и Шамякин, и Макаёнок от русских и украинских писателей знали об участии самого Хрущева в репрессиях — ведь руки у того были по локоть в крови. Поэтому Макаёнок, в целом соглашаясь с Шамякиным, все же постоянно по конкретным историческим периодам и делам политиков вступал в яростные споры. Не потому, что любил спор как таковой, а потому, что надеялся на прорыв истины в этих бесконечных спорах и разговорах, ожидал извлеченного из слов собственного понимания невероятно сложных перипетий истории. Вообще идеи у него вызревали в процессе говорения. Конечно, ни он, ни Шамякин, ни другие писатели не думали о разрушении Советского Союза — тогда он казался мощным как никогда. Однако они видели постепенное обывательское перерож-

дение, нравственное гниение партийной и государственной верхушки, которая разлагала и народ. Они ощущали, а в начале 80-х уже и знали, что добром это не кончится. Не боясь уничтожения государства (об этом и помыслить не могли), они боялись увядания в людях чувства патриотизма, долга перед страной, ликвидации национальной идентичности народа. Я помню, как решительно выступал Андрей Егорович против идеи Суслова о «советском народе». «Не может быть такого понятия — «советский народ»! — горячился Макаёнок. — Есть белорусский народ, русский, украинский, польский, грузинский... Идея «советского народа» нужна, чтобы всех нас нивелировать, подвести под один стандарт — ведь одинаковой массой легче управлять...» Правда, сейчас мне кажется, что имелось в этой идее рациональное зерно — понятие советскости нас объединяло, хотя, конечно же, прав был и Макаёнок. Я хорошо помню и обсуждение политических событий после падения Хрущева. Меня, подростка, потрясло тогда, что писатели не только знали о личных, человеческих качествах вождей, но и прекрасно представляли, «кто за кем стоит», говорили, например, о том, кто конкретно «посадил на престол» Брежнева. В начале его правления он считался абсолютно никчемной, несамостоятельной фигурой. В огромной степени свои сведения белорусские писатели черпали от русских коллег, с которыми общались тогда очень активно — часто ездил вместе в командировки, в том числе за границу (о чем и вспоминал В. Солоухин), встречались на писательских пленумах, съездах, разных семинарах, «круглых столах», в издательствах. Макаёнок буквально поглощал эти сведения, впитывал в себя.

Но вообще-то Андрей Егорович считал себя очень ленивым. Да, он много ездил и очень охотно общался с людьми. Но он мог год вообще не писать, а потом садился и создавал пьесу за две недели. Причем, сам процесс писания, в отличие от Шамякина, не любил. Написать статью или предисловие к книге коллеги, а тем более доклад на пленуме, допроситься его было невероятно сложно. Ему нравилось «прокручивать» диалоги и реплики в голове или же озвучивать их перед слушателями. Но Макаёнок очень серьезно работал над собой — много, можно сказать, ненасытно читал. Причем, круг его чтения с годами становился все более рафинированным. Помню, один раз он у нас просил Болеслава Пруса (у нас было собрание сочинений), другой раз — сборник Франца Кафки, потом Сэлинджера, и так без конца. Брался и за философов, очень увлекался историками. По воспоминаниям Шамякина: «На столе развернутый том Геродота. — Скучно? — Но мудро». Это Макаёнок ответил: «мудро». От него я впервые услышала, скажем, имена Н. Бердяева, А. Тойнби. В библиотеки никогда не ходил — читал всегда дома или на даче. Читал вдумчиво и увлеченно обсуждал прочитанное. Вообще любил говорить. В диалогах друзей Шамякин говорил мало. И никогда не спорил. Что-то высказывал, а дальше слушал бесконечный макаёнковский монолог, не возражая. После ухода Макаёнка, бывало, высказывал мнение, противоположное только что услышанному. Мы, его близкие, удивлялись: «Почему же ты не сказал этого Андрею?» — «Не хотел обижать». Не хотел он обижать друга и тогда, когда тот выбрал не совсем подходящую ему по взглядам, пристрастиям, интеллектуальному уровню вторую спутницу жизни — Любу. Мы уже выросли, и родители не раз обсуждали с нами ситуацию с дорогим семье человеком. Мама неизменно занимала сторону первой жены Елены Сергеевны и их общих детей. Кстати, в этом ее горячо поддерживала Ядвига Павловна Наumenко. Сам Иван Яковлевич Наumenко и Шамякин, к этому времени тоже хорошо сдружившиеся, придерживались нейтралитета, хотя настоящее мнение отца о Любе я, конечно же, знала. Снисходительное отношение писателей, как я сейчас понимаю, было где-то оправдано. Во-первых, оба они были по-белорусски толерантны, рассуждали: «Если другу так лучше, то и пусть себе», во-вторых, уже как писатели полагали, что жизнь непредсказуема, в ней все возможно, и все что угодно случается, и нужно относиться к этому по-философски. Так и относились. Однако после внезапной смерти Макаёнка в 1982 году неизменно соглашались, что вторая женитьба жизнь ему сократила.

Шамякин в своей «Повести о друге», созданной сразу после смерти Андрея Егоровича, очень многое вычеркнул даже уже после написания, и оценку Любви Ивановне дал достаточно сдержанную: «...Вторая жена его — женщина своеобразная, возможно, даже уникальная. Прежде всего, до невероятного противоречивая: в ней как бы воплотились все черты многих эпох и многих социальных пластов — от крестьянской патриархальности, суеверности до рафинированной психологии определенной части ультрасовременной интеллигенции». Насчет «рафинированности» писал отец не без иронии: имел он в виду махровое мещанство людей, причисляющих себя к интеллигенции, то явление, которое Александр Солженицын назвал «образованщиной», хотя и сам-то... А Шамякин и Макаёнок очень хорошо различали в людях обывательскую психологию, всю жизнь боролись с ней в своем творчестве и, кстати, в себе изживали, как могли сопротивлялись ее «получему» проникновению. Не всегда удавалось, нужно честно признать, — главным образом, под влиянием окружения, в том числе семейного. Но у нас в семье — очень поздно, в последние годы жизни родителей. Мне было горько это видеть: он все прекрасно понимал, но уступал по всегдашней мягкости характера — не хотел конфликтов. Назвать характер Андрея Егоровича мягким никак нельзя, но и он уступал: скрипел зубами и уступал. Часто приезжал к нам на дачу, чтобы, выговорившись, успокоиться: видно было, что кипел. Рассказывал о постоянных просьбах новой жены: устроить очередного родственника, купить ковер, шубу, бриллианты... Кстати говоря, когда Макаёнок развелся с Еленой Сергеевной, она ни на что не стала предъявлять права — ни на машину, ни на дачу, сразу согласилась на сумму, которую муж предложил давать на детей, хотя, если бы алименты шли официально, то она от его фантастических гонораров получала бы во много раз больше. А вот Любовь Ивановна судилась с детьми Макаёнка после его кончины. Моя мама и Ядвига Павловна Науменко выступали свидетельницами в суде — естественно, на стороне детей. И таки ж выиграли дело: хотя бы дача досталась первой семье.

В личном общении Любовь Ивановна была даже своеобразно обаятельной, скорее — забавной. Я помню, как она рассказывала мне о методах воспитания и образования ее Андреем Егоровичем. В их двухкомнатной квартире он повесил на стене около телевизора политическую карту мира. Как только в «Вестях» называли какую-то страну, он поднимал с дивана Любовь Ивановну и гнал ее к карте — показывать эту страну. Не знаешь — иди за энциклопедией. Нужно сказать, очень правильный образовательный метод. В своей книге Шамякин писал и о том, что в начале знакомства она — врач лечкомиссии — понятия не имела о таком драматурге — Макаёнке (в театры не ходила), а о Шамякине слышала, как о каком-то начальнике. Однако уже через год после начала жизни с Макаёнком прекрасно разбиралась в отношениях актеров между собой, их же — с режиссерами, драматургами и вообще во всей театральной «кухне».

Действительно, Шамякин и Макаёнок говорили не только о творческих проблемах, но и о личных, дружбе, конфликтах с актерами, режиссерами, — а она все впитывала. Моя мама как раз такие разговоры воспринимала вполуха. Шамякин в «Тайне драмы» много пишет о творчестве — писательской манере Макаёнка, концепциях пьес, вызревании замысла. Однако я не могу не остановиться на моменте, вокруг которого сейчас появилось много спекуляций — в Интернете и некоторых изданиях. Речь о запрещении пьес Макаёнка. Действительно, случилось, что сначала его произведения ставились в Москве, вообще в России, затем в Беларуси. Шамякин отмечает: «Петр Машеров не все принимал в комедиях Макаёнка. Но критиковал он драматурга по-хозяйски и часто давал разумные и удачные подсказки, особенно когда обсуждалась пьеса о селе. Машеров любил поговорить с драматургом. У него была слабость: при собеседнике, глядевшем ему в рот, он больше говорил сам. Макаёнок с ним спорил, и Петр Миронович ценил это, ему было интересно с человеком, не признающим «табели о рангах». Из этого небольшого отрывка виден и демократизм Машерова, действительно

любившего беседовать с Макаёнком, но, кстати, и с Шамякиным, а также и характер Макаёнка, отстаивавшего свои взгляды, невзирая на лица. Но запреты таки были. Что тут сказать? Как видим, не со всем в пьесах драматурга соглашался глава республики, и, возможно, он бывал прав. Прав с точки зрения хозяйственника, экономиста, политика, знающего свое огромное хозяйство широко и полно. Однако и драматург прав, поскольку писателя всегда больше интересует человек, а не экономика, или же, скажем так: человек в экономике — то, что, бывает, чиновник, даже такой широты взгляда на вещи, как Машеров, не учитывает, упускает из виду. Играл свою роль в судьбе пьес Макаёнка и наш провинциализм, страх прогневить высшее союзное руководство. Все же Петр Миронович, во многом самостоятельный в пределах республики, был зависим, и мы об этом также должны помнить. В Москве очень охотно ставили пьесы Макаёнка, но москвичам просто: с интеллигенцией там власти заигрывали, ей, столичной, позволялось то, о чем мы лишь завистливо мечтали. Ужасно ведь не это: в конце концов, пьесы Макаёнка в Беларуси неизменно шли, и шли с большим успехом. Ужасно то, что их перестали ставить после смерти драматурга. И дело совсем не в политике, хотя доброжелательный к комедиографу Машеров трагически и таинственно погиб за два года до смерти Андрея Егоровича, и пришли другие руководители. Дело и не в творческих вопросах, а всего лишь в пристрастном отношении людей, от которых зависел репертуар белорусского театра, к личности Макаёнка. Вот когда ему припомнили его правдолюбие, непримиримость ко лжи, острый язык. Тридцать лет не ставить лучшего комедиографа не только Беларуси — всего Советского Союза! И это не преувеличенная оценка. Так говорили даже завистливые и язвительные москвичи. Пьесы Макаёнка — настоящая классика, которой стоило бы гордиться. Еще остался зритель, который в состоянии понять и настоящий драматизм макаёнковских не только трагикомедий, но и комедий, и их подводные течения, и второй, третий планы. Ведь персонажи пьес Макаёнка — одновременно и полноценные, живые образы, и аллегории. Хотя бы одна его пьеса должна идти раз в месяц в театре имени Янки Купалы — не только купаловском, но и макаёнковском, учитывая то, что он для славы театра сделал. Вместо этого — забвение.

Мало кто помнит сейчас о еще одной стороне деятельности знаменитого драматурга — о его работе на посту главного редактора журнала «Неман». Шамякин пишет на этот счет: «В 1967 году я уговорил Андрея на должность главного редактора «Немана». Редактор он был наилучший — смелый, независимый от литературных группировок, требовательный, свободный от вкусовщины. Но слабые рукописи его раздражали. Если я заставлял его за чтением такой рукописи, он встречал меня горячими словами:

— Тебе не икалось в дороге? Я тут склонял тебя... Втянул ты меня в кабалу. Чем я занимаюсь, Иван? На что трачу дорогое время?

— Нужно же что-то делать для общечеловечности?

— А комедии я пишу для кого? Что даст больше пользы? Пьеса моя или то, что я прочитаю вот этот роман, который граничит с графоманством? Даже если я помогу опубликовать его.

Редактором он пробыл тринадцать лет, но последние три года настойчиво просился освободить его. Руководство долго не соглашалось. В конце концов, я пожалел друга и тоже попросил за него А. Т. Кузьмина.

Кстати, я не уверен, что сделал он правильно, покинув редакцию. Не мог он все время писать. Много думал, но мысли его были невеселые: излишне много подбрасывали ему бытовых проблем, решение которых требовало не меньшей энергии, чем работа в редакции, а удовольствия не давало никакого, только раздражало».

Прокомментирую этот небольшой отрывок — то, чего Шамякин не написал. А не написал он о том, что Макаёнок смог поднять тираж журнала сразу в несколько раз — подписчики не только в Беларуси, во всем Союзе гонялись за

ним. Во-первых, здесь шел очень строгий отбор по эстетическим качествам произведений, во-вторых, Макаёнок не боялся печатать острые политические вещи, но в то же время не гнушался и крепко сделанной зарубежной беллетристики, типа Артура Хейли. Он умел видеть будущий успех того или иного произведения у публики. Уверена, что Макаёнок — с его исключительным аналитическим умом, энергией, напористостью — смог бы поднять любое дело, а не только журнал (пожалуй, это даже мелочь для такого зубра). Однако в конце концов он устал, остыл, замучила текучка, отношения с авторами, с чиновниками. К тому же по приведенной цитате видно и осуждение Шамякиным уклонений друга от участия в общественной работе, которая у отца занимала как раз очень много времени. Сейчас я думаю, что каждый человек, во всяком случае, тонко чувствующий человек, как-то нутром ощущает, сколько лет ему отпущено, и потому бережет или не бережет свое время. Шамякин более чем на двадцать лет пережил Макаёнка. Да, тому стоило ценить время и не растрчивать его по пустякам. Но я думаю, Шамякину и не требовалось функционирование приятеля в каких-то областях и общественных сферах, а беспокоило иное. Помню, при мне и отце Андрей Егорович однажды заявил: «Я никому ничего не должен: я воевал, отстаивал страну — мне все должны». Отец тогда, как всегда, промолчал, не желая вступать в спор. Но, видимо, почувствовав, что я внутренне согласилась с Макаёнком, всячески впоследствии старался вытравить у меня это убеждение: неоднократно горячо доказывал, что таких счетов — кто кому больше должен — родина человеку или человек родине — не должно быть в принципе у совестливых людей. Так же и в любви — отдавать нужно, не считаясь, даже не думая об этом. И это были не только слова: я преклоняюсь перед отцом за его поведение во время тяжелой болезни мамы. Однако Макаёнок был человеком другого склада. При всем его патриотизме в нем жила обида на родное государство — та обида, которой мучились тогда очень многие, да мучаются и сейчас, не желая считаться ни с чем — ни с экономическими законами, ни с социальной справедливостью, ни с факторами геополитики, даже, как ни странно это звучит, с климатом. «Мне недодали! Мне!» Пьесы Макаёнка шли в Советском Союзе очень широко — почти в двухстах театрах; в течение целого десятилетия он получал самые большие гонорары в республике. Но тоже был недоволен: возможно, тем, что государство брало слишком большие налоги. При этом он часто говорил о несвободе, как, впрочем, и другие интеллигенты той эпохи. Я не стала бы приписывать им эгоизм и стяжательство: они в самом деле ощущали несвободу. Однако больше, чем советская власть, никакая другая власть людям искусства не дала. Подчеркиваю: людям искусства, а не деятелям попсы и телевизионной тусовки. Получали машины, квартиры, дачи. Но жила неудовлетворенность (не знали, бедненькие, что ждет их впереди!). Кстати, Шамякин до начала 90-х своей судьбой был доволен. Макаёнок — нет. По-видимому, речь здесь должна идти о внутренней свободе. Ее недостаток Макаёнок ощущал, но по закону аберрации переносил на внешние обстоятельства. В сущности, Андрей Егорович не случайно избрал стезю драматурга, то есть рода литературы, в основе которого лежит конфликт, противоречия. Он сам был противоречив по натуре, сложен до невероятности. Но также удивительно интересен.

Однако повторяю: отца волновал в друге все более укоренявшийся в нем эгоизм. В сущности, интеллигенция в СССР, в том числе в Беларуси, как раз и разделилась по этому признаку: гедонистический индивидуализм, который прикрывался высокими словами о свободе личности и гуманизме, и ощущение единства своей собственной судьбы с судьбой народной, неотделимого от нее императива жертвенности и долга. Разделение стало ощущаться очень рано — еще по запомнившимся мне разговорам в 60-е годы. Однако в начале 80-х Шамякин тяжело переживал перерождение, как ему казалось, Макаёнка, начавшийся переход того в другой, противоположный, идеологический лагерь. Правда, отец объяснял это семейными проблемами и, конечно же, всегдашней критичностью

взгляда Макаёнка на состояние бюрократии и в целом общества. А то, что все в государстве прогнило, мы тогда уже видели ясно. И все же сам Шамякин и в жуткие 90-е годы, и в начале двухтысячных оставался верен идеалам юности. Он потерял большую сумму денег, но принял со смирением — не он один, весь народ лишился накоплений, да и не до того папе было после действительно страшной утраты — смерти сына. Но в его повестях критический пафос против обывательщины, против народившейся буржуазии стал более мощным, чем против советской номенклатуры — бородков и гуканов — в ранних романах. Что же касается Макаёнка в последние годы жизни, то его душевное состояние, действительно, было очень тяжелым, но это обусловлено, как я сказала, многими обстоятельствами.

Известный белорусский литературовед Петр Васюченко в юбилейной статье в «ЛіМe» написал, что Макаёнок «любил создавать вокруг себя мифы. Не удивительно, что этим стали заниматься его коллеги, друзья». По-моему, очень неосторожное заявление. Васюченко не знал Макаёнка так, как знала его я. Мифы не сложились — возникли довольно-таки грязные сплетни, как обычно вокруг успешных и неординарных людей. Миф и сплетня — разные вещи. Макаёнок был удивительно органичным, цельным человеком и при этом личностью со многими «подкладками». Кроме того, Васюченко бросил тень на друзей драматурга. Однако более искренне, правдиво, чем Шамякин о Макаёнке, никто о своем друге не написал. В этом смысле «Тайна драмы» — произведение удивительное, уникальное, в должной мере критиками не оцененное. Другое дело, что отец очень многое в разговоре о друге опустил: ограничен был и рамками произведения, и законами жанра, и требованиями корректности. Разного рода условности, как художественные, так и этические, необходимо учитывать. Что же касается содержания повести — то все это было, было... Просто очень многие сегодня не желают знать, что в действительности было, — ведь речь о советском времени, стереотип восприятия которого уже сложился благодаря СМИ, и разбить его невероятно сложно. Вот и кажется мифом. На самом деле сочинили совсем другой миф — противоположный реальности.

Макаёнок и Шамякин — совершенно разные, яркие, неповторимые творческие индивидуальности. Их неповторимость особенно заметна на фоне одинаковых по взглядам, жизненным кредо, путям к успеху современных литераторов. Не менее ценен — для понимания уровня нравственного состояния общества, для целей воспитания населения — опыт человеческой, настоящей крепкой мужской дружбы двух таких своеобразных людей, как Макаёнок и Шамякин.

